

УДК 821.161.1

**«НАДРЫВ И СМУТА НАШИХ ДНЕЙ...»
(Ф. Достоевский и М. Волошин: «загадка русского духа»)**

© 2010 г.

С.М. Пинаев

Российский университет дружбы народов, Москва

vestnik@unn.ru

Поступила в редакцию 09.04.2010

Рассматривается влияние Ф.М. Достоевского на философские взгляды М. Волошина, на его мировосприятие. По мнению автора статьи, М. Волошин был убеждён, что в творчестве Ф. Достоевского воплощена идея русской трагедии. Конечной целью искусства, по М. Волошину, должно быть полное преображение мира. В этом смысле он толковал афоризм Достоевского «Красота спасёт мир».

Ключевые слова: Достоевский, Волошин, история, христианство, революция, человек.

Влиянию Достоевского на Волошина можно посвятить солидный спецкурс. А эпиграфом к нему поставить волошинское признание из «Истории моей души», сделанное летом 1905 года, в период интенсивного увлечения французским искусством: «...В конце концов, единственное, что соединяет меня с Россией, – это Достоевский... Может быть, потому что я его дольше всего отражал в себе...» [2: 207]. Поэтому здесь мы сосредоточимся лишь на одном аспекте этой темы, выраженном в словах поэта: «Принять, возлюбить и преобразить». М. Волошин был убеждён, что в творчестве Ф. Достоевского воплощена идея русской трагедии. Подразумевалось то, что Достоевский наряду с Л. Толстым создал почву для национальной трагедии в литературе. Поводом для этого умозаключения стала постановка Московским художественным театром «Братьев Карамазовых» в 1910 году, которой поэт посвятил четыре статьи. Однако весьма знаменательно и то, что Достоевский в значительной степени раскрыл для Волошина «надрыв и смуту наших дней», навёл его на мысль о возможности своеобразного исторического катарсиса в России.

20 января 1911 года в Нижегородском зале Общественного клуба Волошин читает лекцию о «Царе Эдипе», «Братьях Карамазовых» и проблеме отцеубийства. Трагедия Карамазовых, по мысли поэта, заключается в том, что все три брата – прежде всего Карамазовы, в том, что они чувствуют в себе отцовскую плоть, насыщенную грехом и извращениями, в том, что для того, чтобы перестать быть Карамазовыми, они «должны в себе преодолеть своего отца». Однако эта трагедия не безысходна. Ведь кроме убийства отца и отречения от плоти существует

возможность «возлюбить её, освятить, преобразить, одухотворить её... принять и всею своею жизнью оправдать свою физическую наследственность» [7: 52].

Дилемма, стоящая как перед Дмитрием, так и перед Иваном, одна: «...или самим духовно погибнуть, или отца убить. А убийство мыслью или желанием, в той атмосфере, в какой развивается действие романа, становится реальным убийством» [7: 52]. Лакей Смердяков становится орудием «волений» Дмитрия и Ивана. Причём Дмитрий принимает обвинение в отцеубийстве «как законное возмездие за всю свою жизнь и за желание убить. Поэтому в его гибели есть возможность и обетование воскресения» [7: 53]. Нарастание ужаса в душе Ивана напоминает то, что происходит с Эдипом; он обвиняет брата и вдруг начинает осознавать, что отцеубийца – он сам. Алёше же предназначено не убить, а преобразить в себе Карамазова, «стать спасителем грешной и изолгавшейся плоти Фёдора Павловича» [7: 54]. Именно ему суждено испытать мистическое причащение земле («...он целовал её, плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступлённо клялся любить её во веки веков...» [7: 56–57] – вспомним волошинское: «И в первый раз к земле я припадаю...»). Без этого света трагедия Карамазовых была бы столь же безысходна, как судьба Эдипа. Однако в этом экстазе любви к земле и плоти, ко всему сущему «Достоевский раскрывает тот путь, которым карамазовщина может быть преодолена без отцеубийства; тот путь, на котором требование: “оставь отца и мать и иди за Мною”, не нарушает, а утверждает заповедь: “чти отца своего и мать свою”».

Волошин тонко чувствовал историческую актуальность романа Достоевского. Он знал, что это произведение должно было стать прологом к другому роману, охватывающему всю жизнь Алёши. Суть его – в ответе на вопрос, «как бы должен был разрешиться в обстановке обыденной жизни этот пророческий момент экстаза, какими путями должна была разрешиться борьба Алёши с отцовскою злою плотью» [7: 57]. Причём действие этого второго романа должно было происходить в 1880 году, в напряжённой общественной обстановке, сходной с атмосферой 1905 года. Волошин предполагает, что многое в нём могло напоминать роман «Бесы», но что «вопросам, оставшимся неразрешёнными в «Бесах», здесь должно было быть дано разрешение. Было ли бы это так или нет, во всяком случае, загадка о судьбе Алёши Карамазова есть основная загадка русского духа, до сих пор отцеубийственного во всех своих порывах и революционных устремлениях» [7: 57], подводит итог поэт и мыслитель. И действительно, Волошину вскоре пришлось искать пути разрешения вопросов, связанных с российской «бесовщиной» XX века, разгадывать «основную загадку русского духа».

Картины «разодранного» войной мира, вакханалии «взметённых толп», карамазовщина брато- и отцеубийственной усобицы в России удручали и тяготили поэта. Отрываясь мыслями от грешной земли, М. Волошин всё чаще задумывается о Граде Господнем, с высоты которого должны оцениваться история и человеческое бытие. С этой точки зрения, буржуазия и пролетариат едины, считает поэт, поскольку оба социальная отталкиваются от идеала благополучия и комфорта, руководствуются исключительно эгоизмом. Законом человеческого сообщества должна стать самоотречённость, «только то, что делается для других, без мысли о самом себе и без ожидания награды» [1: 301]. Идеал Волошина сводился к тому, чтобы каждый работал на другого «безо всякой мысли об оплате», а всё нужное получал от других в виде милостыни. Поэт был не согласен с утверждением Кропоткина о том, что высшим законом является развитие человечества от менее счастливого существования к более счастливому: «Счастье, благосостояние, удовлетворённость приостанавливают всякое развитие, в физическом мире и в духовном – это смерть, начало распада... Я бы заменил понятие счастья духовным равновесием, покрывающим собою все противоречия и ущербности мира материального. Социальный рай на земле находится в полном противоречии с «царством Божьим внутри нас»» [1: 299–300].

Человеческое «я», отмечал Достоевский в одном из писем 1878 года, не подчиняется полностью «земной аксиоме, земному закону, но и выходит из них, выше их имеет закон», другими словами, «в земной порядок оно не укладывается, а ищет ещё чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит оно» [4: 30, I, 11]. О том же, вероятно, рассуждал и старец Зосима: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой жизни нашей с миром иным, с миром горним и высшим...» [4: 14: 290].

Размышляя о Граде Господнем, Волошин задумывается над евангельским «договором»: «Просите и воздастся вам...» Как это понимать? «Господь берёт на себя устройство земных дел человека, пока он сам будет заниматься делами господними. И обещает исполнение всякой просьбы, к нему обращённой... последнее обещание сводится к моральному очищению, просветлению желаний и к приведению их в гармоническое согласие с планами Божьими...» [1: 303]. В промежуток между Февралём и Октябрем 1917 года Волошин был убеждён: «Россия должна идти к религиозной революции, а не к социальной» [1: 305]. Цель – «преображение личности». Как и Достоевский, он полагал: «...чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу» [3: 212]. Не случайно в поэме «Бунтовщик» (из книги «Путями Каина») поэт призывает «пересоздать себя». Вслед за Достоевским Волошин говорит в поэме «Магия» (из книги «Путями Каина») о духовном рабстве «мира», в поэме «Машина» – о возрастании бессмысленных потребностей людей. Старец Зосима в «Братьях Карамазовых» выступал против «тиранства вещей и привычек». Волошин в поэме «Бунтовщик» словно бы вторит ему: «Но кто принадлежит кому, – / Владельцу вещь, / Иль вещи помыкают человеком? / То собственность, что можно подарить...»

Однако ближайшие перспективы казались Волошину безрадостными, витающие в воздухе социальные идеи – порочными. «Дольше, чем когда-либо, я чувствую неприязнь к социализму и гляжу на него как на самую страшную отраву машинного демонизма Европы, – пишет художник А.М. Петровой 19 мая 1917 года. – Пролетарии, так страстно ненавидящие «буржуазию», берут от неё все её яды, отбрасывая то, что есть в ней от общей духовной культуры – «аристократической» культуры человечества. Социализм и «германизм», в конечном счёте, одно и то же: обожествление «здорового комфортабельного эгоизма». Поэтому они и чувствуют

друг к другу такую неодолимую симпатию» [7: 159].

Волошин полагал, что лобовое столкновение с Германией вряд ли могло бы привести к положительному для России исходу. Борьбаться с германским «Левиафаном» эффективнее не извне, а изнутри. Ведь в случае внешнего поражения России славянство, «которое окажется внутри Германской империи... больше сделает для преобразования её, чем то, которое будет отчаянно и безуспешно... бороться с нею извне» [7: 192]. Мысли Волошина о возможности «принятия в себя» (в данном случае, России в состав Германской империи) и её «преобразования» получают неожиданное направление. «Разрядить» и, соответственно, «преобразить» «в течение двух-трёх поколений» германский империализм следует «тем анархическим христианским зарядом, что заложен в славянстве» (из письма к А.М. Петровой от 15 января 1918 года). Несколько раньше, 9 декабря, Волошин писал: «Мне представляется вполне возможным повторение судьбы Греции и Рима: то есть полное государственное поглощение России Германией и новый государственный сплав, который даст России, славянству впоследствии пережить на тысячелетие Германию. Быть может, это и будет обетованным тысячелетним царством святых и Христа во “славе” его» [7: 182].

Именно церковь, считает поэт, должна проявить в это трудное время упорство в отстаивании вечных истин. Работая над поэмой «Протопоп Аввакум», Волошин делится своими соображениями с Петровой: «Меня волнует то лицо, которое я чувствую всё время за Аввакумом. Это – Бакунин. Я чувствую их органическую связь... они выражают собой основную черту русской истории: христианский анархизм» [7: 191].

На Западе, считает поэт, «произошёл сплав церкви с Римской империей, и это определило латинскую церковь. В славянстве же христианство имеет тенденцию переноситься целиком в индивидуальное чувство и противопоставлять себя государству, как царству зверя. Поэтому в народовольцах и террористах не меньше христианства, чем в мучениках первых веков, несмотря на их атеизм. Вот в этой плоскости я чувствую какое-то конгениальное родство Аввакума и Бакунина» [7: 191–192]. Демоническая фигура революционера-анархиста занимает воображение Волошина и сама по себе. Позднее, в поэме «Россия», он сделает этот образ воплощением национального менталитета, революционного «творчества» на Руси.

Своеобразным анархистом сознания, если угодно, «Бакуниным разума» представляется поэту Иван Карамазов. «Иван – огромный ум, устремлённый к Богу, – пишет Волошин в статье «Отцеубийство в античной и христианской трагедии (Братья Карамазовы и Эдип-царь)». – Но у этого ума нет иных путей познания, как разум». Иван совершает отцеубийство не в порыве страсти, а холодно и обдуманно, словами: «Пусть один гад убьёт другую гадину»... его мысль воплощается в Смердякова и убивает. И узнав, что убийца – он сам и есть, он внутренне не принимает на себя убийства, как Дмитрий... Роман оставляет его в горячке между жизнью и смертью» [7: 53].

Иван Карамазов, подобно Бакунину, в себе несёт «культуру взрыва». Он не примет мироздания, «мира Божья»: «Не стоит высшая гармония слезинки одного только того замученного ребёнка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискуплёнными слёзками своими к «Боженьке», – восклицает Иван, – не стоит, потому что слёзки его остались неискуплёнными...» [7: 62]. Иван Карамазов – проповедник собственной справедливости, творец бунтарской логики, опрокидывающей принцип предустановленной гармонии, которая «не по карману нашему». Однако понятие «собственной справедливости» Волошину хорошо знакомо.

Ещё в период русской революции 1905 года поэт задумывается о категории справедливости. В условиях нового «исторического оргазма» он вновь обращается к этой теме: «Справедливость... как порыв любви, как мятеж против беззакония, – прекрасна... Справедливость судящая, наказывающая – зло. Нет закона, справедливого для двух людей, потому моральные пути не совпадают, и героический поступок одного явился бы преступлением для другого» [1: 302]. Оценивая революционную «стихию» 1917 года, Волошин пишет: «Мне кажется, что дело не в вожаках, не в лозунгах, а в стихийной воле народа, которая, проявляясь безобразно в морали отдельного лица, к чему-то своему идёт – к своей правде...» [7: 193]. Вновь – своя правда. Но и здесь поэт находит зерно, которое может дать всходы: «...теперь Россия всё своими руками прощупывает... В этом смысле большевики – самый лучший учитель» [7: 192], а большевизм, в сущности, это и есть правда о России. В трагическую годину истории Волошин ощущает своеобразный катарсис: «Теперь каждому время считано, каждый как бы в ожидании возможного смертного приговора: оттого так легко и светло на душе, несмотря ни на что. Если

преодолеть в себе страх потери и страх страдания, то чувствуешь освобождение невыразимое» [7: 196]. А потом наступает «момент, когда ничего нельзя делать (может, даже воплощать в слове), а можно только молиться за Россию».

Вслед за Достоевским Волошин почувствовал, что в революционной вакханалии виновен не сам человек, что его подчиняют себе некие «духи». Это даже не демоны, а «духи невысокого полёта». Их можно назвать трихинами, а можно – бесами, «невидимыми врагами» человеческого рода. «Перегонять бесов из человека в человека, из свиньи в бездну, из бездны опять в человека – это значит только способствовать бесовскому коловращению, вьюжной метели, заметающей русскую землю» [1: 327], – говорит Волошин в лекции «Россия распятая». Это почти буквально переключается с тем, что утверждает Бердяев в статье «Духи русской революции»: «Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, иступлённым вихревым кружением. Это иступлённое вихревое кружение и описано в “Бесах”...» [5: 70].

Весьма своеобразно трактует Волошин и хрестоматийный тезис Достоевского о «спасительной» функции красоты. Ещё в 1910 году, готовясь к выступлению в Литературно-художественном кружке, он писал: «Если мы вправе говорить о конечной цели искусства, то этой целью должно быть полное преображение мира... В этом смысл слов: “Мир спасёт красота”» [6].

Волошин принял революцию, утверждала Мария Степановна, «сам включился в неё... в автобиографии, всё взвесив и обдумав, он говорит, что революция его ни в чём не разочаровала, он ждал её и думал, что она будет ещё более жестокой... У него была тяжёлая и счастливая судьба...» Приводя эти слова М.С. Володиной (которые оставим без комментариев), её собеседник Э.М. Розенталь делает в своей книге ряд интересных умозаключений: «Макс Волошин

был действительно убеждён в своей причастности к судьбам страны, не очень к нему ласковой... И всё же вера в Россию, в её будущее была стержнем его творчества... путь один – сойти с пути первоубийцы Каина, прийти к всеобщему, вне разделения на любые взгляды, примирению и любви... И тут просвечивается всё тот же императив всей волошинской философии и религии: не уклоняться от зла... а, приняв в себя, преодолеть его» [8, 96, 141–144], дав таким образом позитивный ответ в решении «основной загадки русского духа».

Две силы, утверждал Волошин, есть у творческой воли человека: познание и любовь. Однако познание – сила негативная, ведь это – «творчество, развёрнутое в обратном порядке. Понимание – негативный отгиск творения. Все положительные творческие силы человека – в любви. Любовью он вносит в мир новое, ею сочувствует в работе Иерархий в качестве одной из них» [1: 298]. В этом – мистическое преломление главного завета старца Зосимы: «Землю целуй неустанно, ненасытимо люби, всех люби, всё люби, ищи восторга и исступления сего... Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да не многим даётся, а избранным» [7: 70].

Список литературы

1. Волошин М.А. Заметки 1917 года // Волошин М.А. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. / Вступ. ст. З.Д. Давыдов, В.П. Купченко. М., 1991.
2. Волошин М.А. Собрание сочинений. Т. 7. Кн. 1. М., 2006.
3. Достоевский Ф.М. Материалы и исследования. Т. 8. Л., 1988.
4. Достоевский Ф.М. ПСС в 30 т. Л., 1972–1988.
5. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1991.
6. ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 262.
7. Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. Вып. 2. СПб., 1999.
8. Розенталь Э.М. Планета Макса Волошина. М., 2000.

«THE BREAKDOWN AND CONFUSION OF OUR DAYS ...» (DOSTOEVSKY AND M. VOLOSHIN: «THE MYSTERY OF THE RUSSIAN SPIRIT»)

S.M. Pinaev

The article considers the influence of Dostoevsky's work on M. Voloshin's philosophy of life. The author argues that M. Voloshin was convinced that the work of F. Dostoevsky embodies the idea of the Russian tragedy. The ultimate goal of art, according to M. Voloshin, must be a complete transformation of the world. In this sense, he interpreted Dostoevsky's aphorism "Beauty will save the world".

Keywords: Dostoevsky, Voloshin, history, Christianity, revolution, man.